

производства. Я тогда даже не знал, что еще действовал закон военного времени об уходе с военного производства от 12 декабря 1941 г., по которому давали от 5 до 8 лет. И не знал, конечно, ничего о порядке оформления ухода с завода, полагая, что если директор завода дал мне разрешение, то все формальности выполнит отдел кадров. Он это и сделал.

Арест

14 ноября 1946 года во время лекции по анатомии в аудиторию вошла секретарь деканата и вызвала меня к декану. Я вышел, оставив свой портфель и шапку, полагая, что сейчас вернусь. В аудитории сидели все в пальто, так как помещение в то время не отапливалось. Лекции конспектировали в перчатках. Когда я вошел в деканат, меня встретили двое мужчин, одетых в гражданское, и сказали, что мне необходимо пройти с ними в милицию, чтобы выяснить вопрос о моей прописке. Я, понятно, что-то заподозрил в таком необычном приглашении, но еще не предполагал, чем это может кончиться. Выходя из помещения, один из них демонстративно вытащил револьвер из кобуры под пальто и переложил его в карман, чтобы я видел, что он вооружен, и не пытался бежать. В милиции меня заперли в камеру с какими-то уголовниками, но я не успел с ними познакомиться, как меня вызвали, посадили в специальную машину и отвезли в прокуратуру. Прокурор района, фамилию которого я уже не помню, обрушился на меня с грубейшей бранью, насыщенной антисемитскими выпадами. Мол, воевать вы не хотите, работать не хотите, а живете лишь паразитами на теле русского народа, и тому подобное. Там же следователь снял с меня допрос, который длился всего полчаса. Я ему объяснил все как было, что меня отпустил директор завода, что я хотел учиться и т. д. Он как будто записал все, как я ему говорил. Весь протокол занял полторы страницы, но расписаться он мне велел в конце листа, оставив чистой полстраницы. Тогда я еще не знал, что это один из многочисленных способов состряпать дело. В дальнейшем на суде я узнал, что он написал на оставшемся

чистом месте, что я националистически настроен и враждебно отношусь к советскому строю. Из прокуратуры меня отвели в городскую тюрьму. Все это было сделано за полдня. Это было в 1946 году. Тогда Россия кишела уголовными преступниками, процветало воровство, грабеж, бандитизм, и тюрьмы были битком набиты уголовниками. Кроме того, в первые послевоенные годы производились массовые аресты всех, кто в той или иной форме сотрудничал с немецкими оккупантами. Ловили полицаев, власовцев, бургомистров, старост и прочих. Естественно, прокуратура и суд были завалены делами. И все они оформлялись скоростными методами, без попытки вникнуть в суть дела. Первые шесть дней, то есть до суда, я находился в подвале тюрьмы в карантинной камере. Камера эта была метров 15. На полу, плотно прижавшись друг к другу, лежали люди разного возраста, разных сословий, разных национальностей. Попадали сюда как за действительные, так и за мнимые преступления. Было ужасно холодно и сыро. Пол был цементный. Кормили какой-то баландой из капустных очистков, иногда попадались отдельные картофелины, совершенно неочищенные и полугнилые. Поглощение этой баланды сопровождалось громким скрипом зубов, так как в ней было полно песка от немытой картошки. Но голод заставлял не замечать этих мелочей.

20 ноября меня вызвали из камеры и в сопровождении двух охранников повели в суд, который находился в двух кварталах от тюрьмы. Судил меня военный трибунал, так как завод был военный, и судили по указу военного времени, хотя после окончания войны прошло уже полтора года. В трибунале было полно арестантов. Во всех комнатах и коридорах стояли действительные и мнимые преступники под усиленной охраной, а на улице и во дворе толпились их родственники, пытаясь передать им что-нибудь. Трибунал работал, как конвейер. Это была чудовищная фабрика производства дешевой рабочей силы для концлагерей, которыми была усеяна вся Советская Россия. За пайку хлеба и черпак баланды строили города, валили лес, добывали уголь, рыли каналы. Судила "тройка", ни прокурора, ни адвоката не было. Когда подошла моя очередь,

меня втокнули в маленькую комнатку. В ней за столом сидел офицер, по обе стороны от него два солдата — заседатели. Скамьей подсудимых для меня служил стоящий на полу низкий несгораемый шкаф. Быстро выяснили анкетные данные для заполнения протокола, и офицер начал допрашивать, как и почему я ушел с завода. Я ему повторил то, что говорил следователю — что меня отпустил директор завода, что я хотел учиться и что никакого преступления не совершал и не понимаю, почему меня держат и судят вместе с убийцами, фашистами и предателями. Он тогда мне ответил, что еврейские националисты и немецкие фашисты — это то же самое и что суд разберется. После окончания допроса вся тройка вместе с секретарем ушла на совещание. Оно продолжалось не более 20 минут. За мной еще была огромная очередь и с более серьезными делами. Читая описательную часть приговора, председатель суда сказал, что я, будучи националистически настроен и имея нездоровый взгляд на советский строй, разлагающе влиял на окружающую молодежь, а потом сознательно дезертировал с военного производства, и что суд определяет мне меру наказания в соответствии с указом военного времени от 12 декабря 1941 года. В дальнейшем к моей радости последовало "но" — но учитывая, что он остался круглой сиротой, что все его родные погибли от рук немецких оккупантов, сам он был узником минского гетто, учитывая, что он, уйдя с завода, не пошел воровать и спекулировать, а пошел учиться, что, хотя и судят меня по указу военного времени, но война уже победоносно окончена... После этого "но" я уже настроился на то, что суд ограничится внушением или же даст мне срок условно, и меня отпустят домой.

Судья продолжал. Учитывая все эти обстоятельства, суд считает возможным ограничиться минимальным сроком наказания и приговаривает меня к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях. Услышав это "смягченное" решение суда, я так и остался стоять как вкопанный. Но охранники быстро привели меня в чувство и вывели в коридор, а оттуда обратно в тюрьму. По дороге они смеялись и успокаивали меня, что это ведь детский срок: пройдет зима — лето, зима — лето, и я буду дома. Понятно, что после массовых

приговоров по 25 лет каторжных работ это казалось им детским сроком. Но те хоть знали, за что сидят. "Мы хоть крови жидовской попили, поехали по всей Европе, наслаждались женщинами и лучшими винами, а вы-то за что сидите?" — говорили они, обращаясь к той части заключенных, которые и сами не знали, за что сидят, которые сидели по состряпанным делам или же по ложным доносам. Из суда меня завели в камеру осужденных. Хотя я уже отсидел шесть дней в камере подследственных и немного представлял себе, что такое тюрьма, но то, что я увидел, ужаснуло меня. В относительно небольшой камере было около 100 человек. Вокруг стен были сплошные нары, но мест хватало лишь для половины, остальные же лежали на полу и под нарами. Все проходы были заняты лежащими вплоть до самой парашки. Хотя оконные рамы были сняты, стояла вонь и духота. Стоял пар, как в бане. Лица у всех были пепельного цвета. Я примостился где-то в уголке на полу, сыром и ужасно грязном. Я начал присматриваться, прислушиваться, изучать обстановку.

Большинство заключенных сидели за растраты или уход с работы, было много солдат, которым за возвращение из увольнительной с опозданием давали статью "дезертирство". Наиболее колоритными в камере были уголовники-рецидивисты. Их было всего человек пять-шесть, но они держали в своих руках всю камеру. Когда кто-нибудь получал передачу, то по существующему в камере закону он обязан был вначале отнести ее этим уголовникам, которые занимали самые комфортабельные, если можно применить это понятие к камере, углы и отбирали себе лучшие продукты, а оставшуюся часть отдавали заключенному. После этого никто уже не имел права посягать на остатки его передачи. Все заключенные свыклись с этим положением и уплачивали долг натурой беспрекословно. Если же кто-нибудь пытался утаить что-либо из передачи, прежде чем отнести ее уголовникам, его избивали самым жестоким образом досками, вырванными из нар, и сапогами. Это делалось на виду у всех и, естественно, такая экзекуция отбивала охоту даже помышлять о неподчинении. У этих уголовников были свои законы, по которым они жили сами, и навязывали, где только могли, другим. Они говорили:

"Тюрьма наш дом родной, а вас она 20 лет ждала, и вы обязаны подчиняться существующим законам, если хотите жить". Позже, в других местах, в пересылках, например, где заключенные не получали передач и посылок, уголовники в качестве налога взимали довески. Каждое утро в камеру приносили пайки хлеба; сырой и тяжелый, как кирпич, хлеб взвешивался в хлеборезке, и все довески хлеба прикалывались к основному куску деревянной палочкой. Так вот эти-то довески надо было отдавать уголовникам, а так как в камере было по меньшей мере сто человек, то у них каждое утро собиралась гора хлеба, и они, конечно, не голодали. Кроме того, они могли еще подкармливать своих "шестерок". "Шестерками" называли заключенных, морально совершенно опустившихся, которые обслуживали этих уголовников: подносили им пищу, стирали для них, выполняли все их требования и прихоти. За это они получали обеды с "барского" стола. Весь день уголовники играли в карты, которые сами искусно делали, пели тюремные песни — у некоторых из них были прекрасные голоса — или кто-нибудь из них рассказывал "роман" — были среди них и великолепные рассказчики. Все они были хорошо одеты, так как все, что было приличного из одежды у заключенных, переходило к ним.

Ежедневно нас водили на прогулку по полчаса. Во дворе тюрьмы были маленькие дворики-камеры. По углам этих колодцев на вышках стояли охранники, наблюдая, чтобы заключенные из разных камер не переговаривались между собой и ничего не бросали. Полчаса мы кружили по этим дворикам, после чего нас возвращали обратно в закрытые камеры тюрьмы. Кормили нас той же баландой из гнилой капусты и неочищенного картофеля.

В Минске у меня была тетя, которая во время войны спаслась, успев эвакуироваться в Узбекистан. Узнав, что я сижу в тюрьме, она время от времени приносила мне скромные передачи: хлеб, отварную фасоль, одну-две луковицы и немного сахара. Когда я впервые получил от нее записку о том, что она принесла мне передачу, я решил сломать существующий порядок и не относить ее "хозяевам" камеры. Возле меня лежал бывший майор милиции, еврей, который получил 3 года за потерю оружия. Он

прекрасно знал все тюремные законы и мир преступников. Уголовники, конечно, не знали, кем он был в прошлом — бывшим работникам милиции и суда в тюрьмах житья не было. Я поделился с ним своим планом, и он меня поддержал. В свою очередь он начал подготавливать солдат для совместных действий. Происходящее в камере наглядно показало разницу между небольшой организованной группой людей и массой людей разрозненных. В камере было очень много здоровых молодых людей, солдат и офицеров, но их ничего не связывало между собой, каждый думал лишь о себе и не хотел рисковать из-за кого-то. Только поэтому небольшая кучка уголовников могла терроризировать людей, которых было раз в двадцать больше их. Солдаты, хотя им и не приносили передач, тоже много терпели от уголовников — за малейшую "провинность" их жестоко избивали. И это несмотря на то, что в эти первые послевоенные годы к солдатам все относились с уважением. Но у уголовников был совершенно иной мир, иная мораль, иные законы.

И вот, когда впервые меня подозвали через кормушку для получения передачи, все обратили на это внимание, так как до этого я передач не получал. Получив передачу, я демонстративно направился в свой угол. У всех от удивления раскрылись рты. Некоторые были поражены моей "наглостью", а некоторые моим "невежеством". Отдельные доброжелатели начали мне подсказывать: "Отнеси вора сначала, ты что, порядка не знаешь? Хочешь, чтобы тебя калеккой сделали?" Уголовники подняли головы от карт, стараясь понять, что происходит. Один из них, который все видел, медленно поднялся и начал отрывать доску от нар, при этом рыча: "Ты что, фрайер, жить надоело? Сейчас ты получишь воровскую передачу, от которой тебе и жить не захочется!" Все это сдабривалось цветистой бранью, художественно довольно сложной. Но тут на нары вскочил майор и закричал: "Солдаты, за это ли вы воевали, чтоб сейчас над вами издевалась эта свора!" Это был сигнал к началу. И все, с кем мы договорились, а их было человек 15, схватили доски от нар, сапоги, крышку от параша и начали с таким остервенением колотить уголовников, что те в одно мгновение оказались избитыми, изувеченными и уползли в

дальние углы под нары. Но их оттуда выволакивали и продолжали избивать. Когда они уже были совершенно повержены, включились и другие — стали топтать их ногами.

Больше всего я питал ненависть к одному поляку, который отсидел срок за бандитизм, а сейчас сидел за попытку перейти польскую границу. Ко всему он был ярым антисемитом и отличался цинизмом и жестокостью. Все, что накопилось во мне, весь гнев и ненависть я обрушил на его большую круглую голову, а когда он уже лежал, то кто-то еще ударил его доской по голове. Он и остался так лежать недвижимым. В это время за дверью послышался шум, прибежало тюремное начальство и начали растаскивать кого куда. Уголовников перевели в карцеры и больницы, и наша камера ожила. Начальство знало о существующем камерном бандитизме, но смотрело на это сквозь пальцы. Однако после происшедшего оно вынуждено было принять некоторые меры, а наша жизнь повисла на волоске. У уголовников была великолепно налажена связь друг с другом, где бы они ни находились. Конечно, были переданы наши фамилии и другие данные — за нами началась охота. Уголовникам убить человека ничего не стоило, делали они это очень спокойно и профессионально. У всех у них было по многу статей и за воровство, и за бандитизм, и за убийство, так что они ничего не теряли. Срок у них был максимальный, им лишь добавляли еще одну статью, срок которой поглощался предыдущими статьями. Это парадоксально, но советская власть вдруг проявила удивительную гуманность и отменила смертную казнь именно в первые послевоенные годы, когда в стране свирепствовали разбой и бандитизм, когда ловили массами полицаев, гестаповцев, на счету у которых были сотни тысяч убитых людей. Всем им выносили смертный приговор, и тут же добавлялось, что на основании вышедшего указа смертная казнь заменяется двадцатью пятью годами заключения в лагерях строгого режима. Одна из причин этого "гуманизма" заключалась в том, что страна остро нуждалась в дешевой рабочей силе для работы в самых тяжелых условиях, а добровольцев было очень мало.

Вскоре нас вызвали на очередной этап. В этот этап из участников расправы попали я и несколько солдат. Нас

вывели в специальное помещение, и там передали конвою. По инструкции конвой должен был произвести тщательный шмон. Нас раздевали догола, всю одежду тщательно осматривали, прощупывали все швы и уголки. Если что-то казалось им подозрительным, они отрывали подошву от ботинок, каблуки, распарывали зимние шапки. Задавался один и тот же вопрос: "Колющих и режущих инструментов нет?" Затем переходили к осмотру посиневших от холода заключенных, которые стояли голые на цементном полу, ожидая, пока осмотрят их вещи. Заглядывали во все места, куда можно было спрятать деньги или гвоздь. Тщательно осматривали полость рта, заставляли становиться спиной и наклоняться до предела вперед — вдруг и там что-нибудь спрятано. Надо было поднимать стопы ног — может быть, к ним что-нибудь приклеено. После всех этих унижительных процедур нам разрешали одеваться, а затем загоняли в другое помещение. Чтобы кто-нибудь не вздумал поехать на этап вместо другого, конвоир называл только фамилию, а заключенному надо было назвать все остальное — имя, отчество, год и место рождения, статью, срок. Такой порядок существует и в тюрьмах, и в лагерях. Когда окончился отбор, нас построили по пятеркам и еще раз пересчитали. После этого началась погрузка в "черные вороны". Машина внутри была разбита на маленькие боксы, куда рослому мужчине с трудом удавалось втиснуться, и сидел он там, сложившись так, что колени почти упирались в подбородок. Летом, в жару, некоторые не выдерживали такой пытки и теряли сознание. Но была зима, ехать было недалеко, и все благополучно прибыли на станцию, где было отведено специальное место для заключенных.

Нас загнали в "столыпинские" вагоны. В каждое 4-х местное купе — по 15—18 человек, так что спать можно было лишь сидя. В купе было маленькое, зарешеченное окошечко с матовым стеклом, через которое проникал свет, но увидеть ничего нельзя было. Отодвигающаяся решетка служила дверью. По коридору прохаживались часовые. Самое мучительное в столыпинских вагонах было то, что нас водили на оправку только два раза в сутки — утром и вечером. И было редким исключением, когда удавалось уговорить охрану разрешить дополнительное пользование туалетом. Как пра-

вило, заключенный, который страдал желудком, мог корчиться от боли, умолять и плакать, но часовой невозмутимо на это твердил: "Не положено". И все. (Издевались над нами и заставляли мучиться жаждой.) Почти всегда на этих этапах сухой паек состоял из хлеба и ржавой селедки. После того, как поешь этой пересоленной селедки, наступала мучительная жажда, а в воде-то ограничивали, давали по баночке. И часовой так же, как и при просьбах в туалет, на мольбы заключенных дать еще водички отвечал: "Не положено". Не помню уже, сколько мы тогда ехали. Поезда в послевоенное время шли очень медленно. Останавливались на всех полустанках. Кроме того, дороги были занесены снегом, а работающие там женщины не успевали очищать путь. Наконец-то мы прибыли на станцию Орша. Было известно, что в Орше находится большая пересылка.

Пересылка — это место, где собирали заключенных из всех ближайших тюрем, и туда приезжал покупатель рабсилы из какого-нибудь концлагеря и формировал этап. Этапы эти были огромные, формировали целый состав и уже не из столыпинских вагонов, а из пульмановских. В пульмановских вагонах были свои преимущества и свои недостатки. Легче было потому, что там прямо в центре вагона было сделано отверстие, которое называлось "туалетом", и заключенные не зависели от доброй воли часового. Но хуже было потому, что люди замерзали — ехали зимой, в Сибирь, и единственная железная печурка не помогала. Стоишь, бывало, около нее, спереди жарись, а сзади замерзаешь.

Оршанская пересылка состояла из множества одинаковых корпусов, которые битком были набиты заключенными. Как всегда, мы прежде всего прошли через шмон, потом нас повели в баню. Все наши вещи были сданы в прожарку, в которой убивалось все живое, находящееся в одежде и белье. Затем нас пропустили через строй парикмахеров: один из них стриг волосы на голове, другой брил бороду, третий брил лобок. Бритвы были тупые, приходилось сжимать зубы от боли. Все это происходило в холодной раздевалке, очереди были огромные, и когда подходила очередь, то заключенные были уже синими от холода. Всем давали по маленькому кубику мыла. Мытье также происходило скоростным методом. Едва только успе-

ешь намылиться, как присутствующий здесь же надзиратель уже подгонял, приговаривая: "Быстрее, быстрее, давайте кончайте, там еще много таких ждут. До утра не успеем всех пропустить. Нечего нежиться, это вам не дома". После бани нас развели по камерам. Камеры, как и вся пересылка, были огромные. В той, в которой я находился первое время, было более трехсот человек. Никаких нар вообще не было, так как это считалось местом временного пребывания, хотя люди там жили помногу месяцев. Весь день приходилось стоять или сидеть на корточках. Ночью ложились по команде: "По рядам и валетом!" Наши ноги лежали на животе друг у друга, головы на плече друг у друга. Примерно через каждый час следовала команда, по которой все поворачивались набок, потом на другой бок — так проходила ночь. В основном контингент заключенных состоял из бывших полицаев, гестаповцев и власовцев. Большинство из них получили по 25 лет каторжных работ. Второе место занимали уголовники. Матерые рецидивисты, потерявшие всякий человеческий облик, хозяйничали по всей пересылке. Их перебрасывали из камеры в камеру за добычей, а потом они собирались вместе и пировали. В одной из камер кто-то из них наткнулся на одного солдата — участника их разгрома в Минской тюрьме. Солдат был зверски избит, и только вошедшие в камеру надзиратели спасли его от смерти. После этого начальник режима, для которого частые внутритюремные убийства были не очень приятны, поместил всех нас — участников расправы с бандитами — в маленькую каморку.

Нас было пять человек, каморка была размером три на два метра. Все лежали на полу. В углу стояла параша. Кормили нас три раза в день. Завтрак — пайка хлеба на весь день и кипяток, обед — черпак баланды, на ужин тоже черпак баланды. Так как наша каморка находилась где-то в углу одного из дальних корпусов, а пищу начинали разносить с разных концов пересылки — завтрак с нашей стороны, а обед — с другой — то выходило так, что мы получали завтрак часов в пять утра, обед часов в одиннадцать вечера, а ужин доходил до нас где-то в два ночи. Заключенные, работающие по разному пицци, не могли справиться со своевременной ее доставкой многим тысячам арестованных.

Пока ее доносили до "едока", она совсем остывала. Разумеется, мы были постоянно голодны, никто из нас никаких передач и посылок не получал. Весь день лежали на своих подстилках и лишь поочередно один из нас мог прохаживаться по каморке, делая по три шага в каждую сторону. За три месяца пребывания в этой каморке нас ни разу не выводили на прогулку. Наше маленькое окошечко выходило в коридор. Внутри круглые сутки коптила коптилка, иначе надзирателю не было бы видно через глазок, чем мы занимаемся. Так что все мы были совершенно лишены свежего воздуха и света. Когда к концу третьего месяца нас впервые вывели в баню через двор, то все мы закричали от сильной рези в глазах. Пришлось с закрытыми глазами вернуться в помещение и постепенно привыкать к свету. Это было зимой, и белый снег еще более усиливал яркость. За три месяца такого режима мы были совершенно истощены, озлоблены, друг другу надоели. Темы для разговоров были исчерпаны. Все уже знали в подробностях биографию друг друга. Голодные и злые, мы постоянно грызлись друг с другом, а мне, как еврею, приходилось еще отражать и антисемитские выпады. Почти всегда это кончалось дракой, а потом, обессиленные, мы опять ложились вместе на пол. Вскоре нас повели на осмотр к врачу. Это делалось перед этапом для комплектования рабочих бригад.

Тюремные врачи считали истощенным заключенного тогда, когда у него уже отчетливо торчали кости и на ягодицах. Я, слава Богу, подходил уже под эту категорию, и меня перед этапом отправили на неделю в "слабиловку", — камеру для истощенных. В этой камере заключенным давали "усиленный" паек, что выражалось в дополнительных 100 граммах хлеба, вечером давали ложку каши, да еще 15 граммов сахара — одну спичечную коробочку на двоих. Откормиться я еще не успел, мясо еще неросло, а меня уже вызвали на этап. Этап готовился большой, несколько тысяч человек. Опять обычные процедуры — обыск, проверка — и нас небольшими партиями отправили на товарную станцию, где уже ждал состав из пугманов. Вагон был битком набит заключенными, и каждый старался захватить место получше, т. е. поближе к железной печурке. Я разместился где-то на полу посередине вагона. И ночью поезд

отправился, увозя многотысячную дешевую рабочую силу на одну из строек сталинских пятилеток. Назавтра утром с грохотом растворили двери, и нам принесли хлеб и кипяток. В обед принесли ржаную затирку, и мы заметили, что она была горькой на вкус и пахла смолой. Оказывается, в баланду при варке клали хвойные иглы, чтобы мы получали витамин С — профилактика от цинги. Рабочая сила должна быть здоровой.

Ехали мы недели две. Время было послевоенное. Поезда шли нерегулярно. Сутками мы простаивали на полустанках, и нам казалось, что мы едем целую вечность. Жизнь в вагоне была однообразной. Днем всегда царил полумрак. Ежедневно те же проверки-переключки. Ежедневно прошупывали и простукивали вагон (не пытались ли мы его сломать). Ежедневно та же пища, те же голоса. Нарушали однообразие только стычки между заключенными.

На Яе

Однажды, после того, как мы простояли более суток на одном месте, двери вагона неожиданно раскрылись, и нас начали выгружать на каком-то полустанке. Была ранняя весна. Кругом стояла непроходимая грязь, и лишь в отдельных местах были остатки почерневшего снега. Охрана была усиленная и, как всегда, с большим количеством немецких овчарок. На какой-то площади, окруженной войсками МВД, мы начали снова проходить всю приемопередаточную процедуру. Хотя разного рода служащих была уйма, все это заняло много часов, и мы стояли голодные, замерзшие, ожидая своей очереди. Когда уже начали спускаться сумерки, нас, наконец, повезли на специально оборудованных грузовых машинах к лагерю. По дороге мы узнали, что находимся где-то в Сибири. В лагере вся процедура по нашему приему тянулась до утра. Опять обыск, но еще более тщательный, баня, бритье, прожарка — и всюду длиннющие очереди. Лишь к утру мы получили пайку хлеба да еще черпак баланды. Лагерь наш, как оказалось, находился в Кемеровской области в 400-х км

восточнее Новосибирска, на станции Яя. Рядом протекала река Яя. Это место входило в район Кузбасса. Заключенные лагеря в основном работали на лесосплаве. Лес шел на оборудование угольных шахт. Это был один из старейших лагерей Советского Союза. Там сидели еще родственники Зиновьева и Каменева и других вождей русской революции, которых в свое время убрал Сталин. К тому времени, то есть, к 1947 году, они уже отсидели по 12–15 лет, хотя получили по суду 10 лет. В свое время предельный срок заключения по советскому законодательству был 10 лет. Но у всех у них на личном деле было написано СОЭ (социально-опасный элемент), а это значило, что выпускать их нельзя. И после отсиженных 10 лет их вызывали и предлагали расписаться в документе, в котором объявлялось, что их заключение продлевается еще на три года; после трех лет они опять расписывались на несколько лет, и так далее. Так продолжалось до 1956 года, когда оставшихся в живых освободили при массовом освобождении политзаключенных Хрущевым. Теперь это были пожилые больные люди. Но они как-то прижились, приспособились и чувствовали себя, в отличие от нас, как дома. Работали они в основном в обслуге — в столовой, прачечной, парикмахерской и детских яслях.

В зоне было 30 тысяч человек: были и утонченные интеллигенты старой школы, и безграмотные мужики, были и политические заключенные, и отпетые уголовники, ярые коммунисты и столь же ярые фашисты. Кроме того, тогда в зоне мужчины и женщины еще были вместе, только в разных бараках. Естественно, у всей лагерной верхушки заключенных — нарядчиков, комендантов барачных и других "придурков" — были наложницы, которых они покупали за пайку хлеба. Уголовники открыто приводили к себе на нары девиц, и комендант барака боялся им что-нибудь сказать, а лагерное начальство смотрело на это снисходительно. В результате пришлось создать в лагере детские ясли. Вскоре нас разбили на рабочие бригады и разместили по баракам. Я попал в бригаду, работающую на лесосплаве. Работа наша заключалась в том, чтобы тяжелыми железными крюками вытаскивать из Яи бревна, сортировать их по диаметру и штабелевать. Работа была невероятно тяжелая, нормы большие, а питание мизерное. Работали по 12 часов в сутки.

Вдобавок бригада наша работала в ночную смену — с часу ночи почти до часу дня. Очень часто к концу рабочего дня подгоняли порожний железнодорожный состав и нам говорили: "До тех пор пока не нагрузите этот состав, в зону не пойдете". И к концу рабочего дня, когда все уже были измотаны 12-часовым изнурительным трудом, приходилось нагружать огромные бревна на эти платформы. Часто люди, совершенно обессиленные, не выдерживали неимоверного напряжения и падали, и тогда баланы с грохотом скатывались на них, оставляя позади убитых и изувеченных. В зону я шел, едва волоча ноги, и уже не хотелось ни есть, ни пить, а лишь добраться до нар и свалиться. По окончании работы нас строили по пятеркам, несколько раз пересчитывали, а затем следовало: "Руки за спину! Шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх считается побегом! Стреляю без предупреждения!" — "Следуйте!". И мы, окруженные конвоем с собаками, медленно плелись обратно в зону.

Права конвоя были неограничены. Они издевались над заключенными так, как им только хотелось. Если кто-нибудь им не нравился, с ним расправлялись очень просто. Велели ему взять лежащий в нескольких метрах от него предмет — доску, палку или что-нибудь другое, — а затем стреляли в затылок. После этого вызывали офицера, измеряли расстояние, на которое он отошел от колонны, и писали акт о том, что заключенный был убит при попытке к бегству. Такие случаи были нередки. А если, бывало, заключенный, зная уже, чем это пахнет, отказывался выходить из строя, то находили другие способы избавиться от него. Один из них — покупали за пачку чая кого-нибудь из уголовников, у которого срок был предельным, так что терять ему было нечего, и он убирал кого надо. Или "случайно" падало на человека бревно, или он "нечаянно" падал под поезд, или же его попросту убивали и топили в уборной. В лагере царил полный произвол, действия администрации и конвоя не контролировались; никто не мог, да и некуда было жаловаться, так как жалобы проходили через руки той же администрации. Кроме того, уголовники при прямом попуществе начальства властвовали в зоне. Все посылки проходили через их руки. Поэтому заключенному доставалась ничтожная доля. Спали в бараках на двухэтажных

нарах, ни постельного белья, ни матрацев, разумеется, не было, и каждый стелил на ночь то, что у него было — пальто, фуфайку или бушлат. Спали всегда в одежде: во-первых, было очень холодно — барак огромный, а топили плохо, а во-вторых, если кто-нибудь и снимал с себя часть одежды, то утром ему уже нечего было надеть. Вещи воровали, а потом продавали. Часто случалось, что со спящего снимали обувь или другие вещи, а он после долгого изнурительного труда так крепко спал, что ничего не чувствовал. Каждое утро после подъема из разных концов барака раздавались вопли — с кого-то сняли сапоги, из-под кого-то вытащили пальто. Ночью по команде "подъем", все должны были мгновенно вскочить. И худо было тому, кто замешкается или просто не услышит команду. Его хватали за ноги и сбрасывали с нар. Занимались этим коменданты барачных, а это были отпетые негодяи, которые рьяно старались выполнить свои обязанности с той же жестокостью, с какой они привыкли выполнять эту работу в немецких концлагерях. Но вскоре у всех выработался соответствующий рефлекс. По команде коменданта "подъем" все, полусонные, вскакивали, как марионетки. Выходили на построение, получали на завтрак черпак баланды, которую залпом выпивали, и только где-то на полпути к месту работы окончательно просыпались.

Этот режим, голод, издевательства, неимоверно тяжелый труд убивали во многих заключенных все человеческое. Некоторые превращались в полуживотных. Никаких моральных норм для них уже не существовало. Девизом их было — выжить любой ценой. И для этого они шли на самые низкие, самые подлые дела. На разных людей лагерная жизнь влияла по-разному. Одних больше всего убивала жестокость лагерной администрации, другие не выдерживали тяжелого труда, третьи не могли перенести голод. Особенно мне запомнились голодные заключенные в карантинном бараке, куда нас поместили по прибытии в лагерь. Люди только и говорили о еде. Каждый вспоминал вслух, что он когда-то ел, что он больше всего любил, как надо готовить то или иное блюдо. Обсуждали это, жадно смакуя и с мельчайшими подробностями. Пайку хлеба, которую мы получали по утрам, каждый поглощал так, как ему казалось

сытнее. Самые нетерпеливые съедали ее сразу, другие распределяли по кусочкам на весь день, некоторые растирали в миске с водой и делали тюрю — им казалось, что таким образом они больше наполняют желудок, и это сытнее. Когда в этом бараке кто-нибудь умирал, труп старались сразу не отдавать, его скрывали и при перекличке кто-нибудь из рядом лежащих откликался за него. Таким образом удавалось получить лишнюю пайку. Держали его до тех пор, пока он не начинал разлагаться, и лишь распространявшийся трупный запах вынуждал отдавать его в морг.

Ежедневно в лагере умирали десятки заключенных. Происходил "естественный" отбор: более слабые и больные не выдерживали голода, холода и тяжелого труда. Более сильные и выносливые еще как-то держались. Каждый день через вахту вывозили подводы с трупами. Их складывали на телеги как дрова, но так как охранники боялись, что вместе с трупами может лечь и живой и таким образом совершить побег, они устраивали особую проверку. Охранник пересчитывал трупы на подводе, ударяя изо всей силы большим молотком каждого мертвеца по голове. Если бы там и лег живой, то такая проверка гарантировала, что вывезут лишь его труп. Проверяли трупы и по-другому: один надрезал пятку кинжалом — живой не мог бы не дернуть ногой; другой просто втыкал штык в каждый труп. Надзиратели делали это, даже если за ними наблюдали заключенные, а может быть и специально, чтобы видели, что и таким путем нет никаких шансов сбежать. Были попытки бежать, хотя и очень редко. Шансы на успех были равны нулю, но толкало отчаяние. Кроме того, что охрана была усиленная, вся область была разбита на квадраты и контролировалась не только охраной, но и местным населением. По тревоге местные крестьяне выходили на заранее отведенные для них участки и прочесывали их. За поимку или оказание помощи при поимке беглеца каждый житель получал вознаграждение — пуд муки или что-нибудь еще. Стоимость беглеца зависела от места, времени и ценности самого заключенного. Однажды несколько заключенных, заранее договорившись, решили совершить побег с места работы. Это были опытные люди, в прошлом военные. Побег этот готовился долго. Все было рассчитано. Им удалось соорудить маскировочные плоты и

под ними вместе со сплавляемым лесом уплыть вниз по течению Яи. Но не прошло и часа, как побег обнаружили. Была объявлена тревога. Вся охрана и местное население были подняты на ноги, и начались поиски и ловля беглецов. К вечеру охрана привезла на подводе груды изуродованных трупов и сбросила их у вахты так, чтобы возвращавшиеся с работы заключенные могли их видеть: вот, мол, что ждет каждого из вас, кто посмеет последовать их примеру. Позже привели тех беглецов, кто чудом остался в живых. Им на шею повесили огромные камни. Они были так избиты, что друзья и знакомые не могли их узнать. После этого побега контроль и террор еще больше усилились. Но весь этот режим и террор со стороны администрации и охраны не очень касался уголовников. Они не работали, так как по их закону воры не должны работать. Они получали чай и даже водку с воли, грабили остальных заключенных. И все это — при молчаливом одобрении начальства. Только однажды они что-то не поладили между собой, и тогда были вызваны войска охраны, которые окружили барак с засевшими уголовниками. Но войти внутрь охране так и не удалось, так как двери были забаррикадированы, а если кто-нибудь пытался заглянуть через окно в барак, то его тут же обливали содержимым параша, из которой они черпали миской. Так продолжалось несколько часов, пока не подкатили к окнам пожарную машину и не начали из брандспойтов сильными струями загонять осажденных в угол. После этого холодного душа их покорили и увели в карцер, а из барака вынесли уйму холодного оружия — ножи, кинжалы, топоры и тому подобные предметы. Но недели через две они почти все вернулись на свои места и снова зажили по-старому.

Я все время старался не попадаться на глаза уголовникам, так как знал, что фамилия моя им известна, и убирать меня им ничего не стоит, никто не помешает. Но одного из солдат, который принимал участие в их избивании еще в Минске, они опознали. Их приговор был короток — убирать. Обычно в таких случаях они поручали совершить убийство одному из своих, у которого есть какие-то грешки перед уголовниками. А если такого не было, то они играли в карты, и проигравший должен был убить. На этот раз они

играли, поставив на кон голову солдата. Исполнить приговор выпало на долю одного рецидивиста, у которого срок был 25 лет. За ним числилось уже несколько убийств, в том числе и лагерных. Солдат жил в другом бараке, но его заманили к ним в барак играть в карты. Они сидели на полу недалеко от моего изголовья и мирно играли в карты. Было это после ужина, и почти все лежали на нарах, отдыхали. Вдруг в дверях появился этот рецидивист-убийца, быстро подошел к солдату сзади, выхватил из-под полы бушлат топор (обычно он ходил одетый весьма франтовато, но сейчас, готовясь к карцеру, надел бушлат) и коротким ударом рассек ему голову пополам. Солдат рефлекторно вскочил на ноги, но тут же упал замертво. Это было сделано настолько быстро и умело, что никто не успел сообразить, что произошло. Впрочем, если бы кто-нибудь и догадался о намерении убийцы, то тоже не подал бы виду, боясь, что и его постигнет та же судьба. В таких условиях чувство самосохранения особенно обострено. После того, как это "мокрое дело", выражаясь лагерным языком, было сделано, убийца сам пошел на вахту, сдал топор и заявил: "Идите уберите труп". Труп убрали, убийцу изолировали, но через некоторое время после суда он снова вернулся в зону с еще одной статьей за убийство, но почти с прежним сроком, так как времени после предыдущего суда прошло немного. Подобные убийства совершались очень часто: убивали за слово, убивали за пайку хлеба, за пару сапог, за женщин. Бывало, если кому-нибудь из уголовников нужно было перебраться в следственную тюрьму по своим делам, он выбирал первую попавшуюся жертву, убивал ее, а потом его направляли на следствие в нужное ему место. А куда направляют, ему было уже известно заранее.

Это было в 1947 году. Война уже окончилась. Страна лежала в развалинах. Царил голод и разруха. Лагеря были битком набиты заключенными. Их уже некуда было помещать, а прибывали все новые и новые поезда. И в это время власти решили разгрузить лагеря. Для заключенных с небольшим сроком и не очень страшной статьей установили бесконвойный режим. Такие жили в особых бараках и на работу шли без конвоя. Это значительно облегчало их положение. Они чувствовали себя относительно свободнее и, кроме того, могли добыть себе что-нибудь сверх пайки.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СВОБОДА

Неожиданное освобождение

Жалоб я, кроме кассационной, ни разу не писал, ждал все, когда отменят указ военного времени. О том, что его должны отменить, ходили упорные слухи. Но прошло уже два года после войны, указ не отменяли, и я продолжал сидеть. В Минске у меня была двоюродная сестра — очень энергичная женщина с хорошо подвешенным языком. Еще до войны она училась в одном классе с дочерью маршала Конева. Они были очень дружны. И вот она решила добиться моего освобождения. Она поехала в Москву, взяв в институте, где я учился, мою характеристику, оказавшуюся весьма положительной. Взяла всякие справки, в том числе о том, что у меня все родные погибли в гетто. И через дочь Конева, которая, в свою очередь, действовала через полковника, адъютанта Конева, добилась приема у председателя Военной Коллегии Верховного Суда СССР генерал-полковника Ульриха. После того, как она изложила суть моего дела, рассказала об обстановке, в которой было совершено мое "преступление", показала ему все справки, характеристики и даже фотографии, он тут же дал указание пересмотреть дело. Сам пересмотр длился менее недели, но решение дошло до меня лишь через два месяца. Вначале его почему-то послали в Минск, затем в Оршанскую пересылку, а потом уже в лагерь, где я находился. Когда меня через коменданта барака вызвали в управление лагеря, я не подозревал, для чего меня вызывают, во всяком случае, ничего хорошего я не ожидал. И когда мне объявили, что мое дело пересмотрено, и мой срок заменен на один год условно, то я не поверил своим ушам. Но потом, прочитав несколько раз решение Военной Коллегии Верховного Суда СССР, я убедился, что это действительно так — я свободен. Не помня себя от радости, я помчался в барак за вещами, состоявшими из рюкзака, телогрейки и полотенца. В этот же день мне выдали справку об освобождении, деньги на проезд и сухой паек на дорогу — буханку сырого хлеба, которая весила более трех килограммов, и две ржавые селедки. Так как

этого пайка явно не хватало на семь суток, то я решил ехать, как в ту пору многие ехали, на подножках, переходных площадках и крышах вагонов, а на сэкономленные деньги покупать еду.

Поезда в то время шли так медленно, что дорога от Кемерово до Минска длилась не менее семи суток. До Кемерово я добрался относительно благополучно. Я забрался на переходную площадку между вагонами и там, стоя вместе со всякими ворами, спекулянтами и просто бродягами, добрался до нужной мне станции. В Кемерове мне не удалось втиснуться на переходную площадку, и я добирался до Новосибирска на подножках вагонов, соскакивая на каждом полустанке, прежде чем меня прогонит проводник. Поезда ползли медленно, с долгими остановками. Приходилось пересаживаться с поезда на поезд. Милиция на каждом шагу меня задерживала и проверяла документы. И тогда моя всесильная справка об освобождении объясняла все. Меня отпускали и прощали то, что еду без билета. Бандиты, грабители чувствовали себя в поездах, вернее на поездах, как дома. Они всех обыскивали, и если находили что-то подходящее, то это немедленно переходило к ним в руки. Никто не пытался сопротивляться, так как расправа следовала тотчас же. Особенно они свирепствовали во время движения поезда и ночью. Дело в том, что проводники ночью запирали все двери, боясь, что грабители проникнут в вагон и начнут хозяйничать и там. Люди оказывались в безвыходном положении. В вагоны их не пускали, как бы они ни колотили в дверь и ни умоляли проводника, а бежать им некуда было. Каждую ночь в разных концах поезда раздавались крики о помощи и слезные мольбы. Помню, где-то между Новосибирском и Свердловском, когда мы ехали на крыше вагона, вдруг появилось несколько грабителей, которые бегали по крышам вагонов, перепрыгивая на ходу с одного вагона на другой. Они начали раздевать и разувать всех, на ком было что-нибудь стоящее. Но одна девушка заупрямилась и ни за что не захотела снимать сапоги. Расправа последовала тут же. Ее швырнули с крыши мчащегося поезда. Раздался душераздирающий крик, и темная уральская ночь поглотила жертву. После этого остальные безропотно отдавали все. Мне было

легче, так как у меня брать было нечего. Часто были случаи, когда люди падали по неосторожности — или когда перепрыгивали с вагона на вагон, или же когда вставали во весь рост и не замечали проводов поперек железной дороги, и их скашивало моментально.

В Свердловске я зашел на вокзал и, в ожидании отправления очередного поезда, сел в сторонке на ступеньках лестницы, крепко обняв свой рюкзак с хлебом и селедкой, и уснул. За этих несколько дней я ни разу не сомкнул глаз, но так же быстро как и уснул, я проснулся и обнаружил, что рюкзака у меня уже нет. Я забегал, начал искать, но все это, разумеется, было бесполезно. И тогда я пожалел, что сэкономил хлеб вместо того, чтобы есть досыта. У меня еще остались деньги, выданные на билет, которые были запрятаны поглубже. Все эти дни я ни разу не умывался и от копоты и грязи был настолько черен, что все прохожие шарахались от меня в сторону. Вид мой, по-видимому, настолько не внушал доверия, что женщины на базаре, куда я забегал купить что-нибудь поесть, прятали от меня все, что лежало на прилавке. Особенно страшный вид был у нас после того, когда мы проезжали туннель в Уральских горах. Проезд через самый длинный туннель едва не кончился трагично. Я лежал на крыше вагона, обняв одну из вентиляционных труб и раскинув ноги для устойчивости. Поезд вошел в туннель, и весь туннель наполнился паровозным дымом. Дышать стало нечем. Когда я делал даже неглубокий вдох, копоть и дым наполняли легкие, и я начинал дико кашлять. Тогда я старался вообще не дышать. Пришлось напрячь всю волю, чтобы дождаться того момента, когда поезд выскочит из туннеля. Все лежащие на крыше, вернее, оставшиеся лежать, так как некоторых мы не досчитались, были черны, как трубочисты. Рот, нос и уши были набиты сажей. На очередной станции нас увидел какой-то высокий начальник железнодорожной милиции и приказал проверить нас. Его приказ был тут же выполнен. Отряд милиции начал всех сгонять с вагонов. Моя справка опять выручила — меня отпустили. Все это время мне почти не пришлось спать, и только изредка, ожидая очередного поезда или же примостившись на переходной площадке, мне удавалось немного подремать. Усталость и

бессонница давали себя знать. На седьмые сутки я вскочил на скорый поезд Омск—Свердловск и примостился на узкой ступеньке вагона, держась за ручку обеими руками. Поезд мчался по ложине, по обеим сторонам которой стоял дремучий лес. Была ночь, и под мерный стук колес я уснул. Проснулся я в тот момент, когда уже летел со ступенек под откос. Я ударился головой о шпалу и потерял сознание. Сколько времени я лежал — не знаю, но проснулся от начавшегося дождя. Я вскарабкался наверх, на железнодорожную насыпь. Абсолютная тишина и кромешная тьма. Счастье, что я был в ушанке, которая немного смягчила удар. Куда идти? Немного подумав, я поплелся по шпалам. Шел я долго, не помню, сколько. Но наконец, увидел вдалеке огонек и пошел на него. Это оказалась будка стрелочника. Я ему рассказал, откуда я, и все, что произошло. Оказалось, что я пошел в сторону, противоположную движению поезда. По его совету я прошел еще несколько километров до ближайшего полустанка. Там я взобрался на какую-то платформу с кирпичами, и под утро поезд двинулся по направлению к Свердловску.

Чем ближе мы были к Москве, тем труднее становилась посадка на поезд. Милиции на станции было все больше, и контроль усиливался, но все-таки мне удалось добраться до Москвы. Я прибыл на Казанский вокзал, а мне нужен был Белорусский. Это было в воскресенье вечером. В метро было полно народу, ехавшего с гуляний, концертов и вечеров. Стоял теплый вечер, и все были одеты в светлые выходные платья. Мне, черному от сажи и грязи, пришлось осторожно пробираться сквозь эту нарядную публику, чтобы случайно кого-нибудь не задеть. Люди, в свою очередь, шарахались от меня, как от чумного, и благодаря общим стараниям я благополучно переправился на Белорусский вокзал. Но на Белорусском вокзале с посадкой оказалось значительно сложнее. Милиция и близко не подпускала меня к поезду. Вдоль всего состава стояла цепь милиционеров. Посадка шла на поезд Москва—Калининград, который проходил через Минск. Как я ни старался проникнуть сквозь цепь охраны, все мои попытки оказались тщетными. Тогда я решил действовать иным путем. Я прошел вперед по железнодорожной линии

несколько сот метров и там, спрятавшись за какой-то столб, стал ждать своего поезда. Примерно через полчаса поезд начал приближаться, постепенно набирая скорость. Когда он поравнялся со мной, он двигался уже довольно быстро. Пропустив несколько вагонов, я нацелился и вскочил на одну из ступенек, благо в тех вагонах ступеньки были наружные. Затем я перебрался на переходную площадку, а оттуда уже забрался на крышу вагона. Там было просторнее, можно было полежать, да и меньше опасности, что заметит поездная охрана. Примостившись поудобнее на крыше вагона, я мчался к своей конечной станции.

До Минска я добрался сравнительно благополучно. Приехал поздно вечером на следующий день и тут же с вокзала пошел к своей тетушке, которая жила на окраине города. Меня встретили со смешанным чувством — радостно, но вместе с тем испуганно. Я их успокоил, сказав, что задержусь у них всего дня на два. В справке, которую я получил из лагеря, было указано, что я еду до станции Греск — это в ста километрах от Минска — жить в Минске мне не разрешили. Назавтра я пошел в институт, зашел к замдиректора института, который в свое время написал мне положительную характеристику, так что он был в курсе дела. Я рассказал ему о всех своих перипетиях, и что в конце концов с меня сняли обвинение и освободили. Теперь я хочу восстановиться в институте. Он тут же дал указание в отдел кадров, и меня снова зачислили. Надо сказать, что в то время поступить в институт было не так сложно: во многих институтах был недобор. Были каникулы, и я поехал в деревню Дравовщину, чтобы немного отдохнуть и откормиться. В деревне были рады моему приезду, так как любили меня и даже считали меня в какой-то мере своим родственником. Кроме того, все время, что я был у них в гостях, я помогал им по хозяйству. Колхозов тогда там еще не было, а хозяйство было сравнительно большое, и старику-хозяину было уже трудно справляться с работой. Дети его давно отделились, имели свои семьи, свои хозяйства.

Осенью я вернулся в институт и получил место в общежитии, которое размещалось в бывших немецких бараках. Прописался по паспорту, который был у меня еще до ареста. Он сохранился дома, так как меня арестовали прямо в

институте и домашнего обыска не делали. Благодаря этой счастливой случайности мне удалось прописаться в Минске.

Существовала еще карточная система. Жил я только на стипендию, помощи ни от кого не было. Нагрузка в институте была большая. Вдобавок к теоретическим занятиям, ежедневно по три—четыре часа мы занимались различными видами спорта. Питались в студенческой столовой, которая размещалась в одном из барачных нашего общежития. Утром по карточкам я получал свою дневную норму хлеба, но во время лекций рука невольно тянулась в чемоданчик, где вместе с книгами и спортивной формой лежал оставшийся от завтрака хлеб. Незаметно отламывался кусок за куском, и обедать уже приходилось без хлеба.

Я всегда любил медицину, мечтал поступить в Медицинский институт, и такая возможность в то время была. Но Медицинский институт не мог обеспечить мне тот прожиточный минимум, который давал Институт физкультуры. В Институте физкультуры стипендия была повышенная, к тому же, так как мы занимались спортом, нам давали дополнительный паек. Кроме того, нам выдавали спортивную форму, которую можно было носить все время, и не надо было тратить деньги на одежду и обувь. Когда бывало очень трудно, я ходил на товарную станцию разгружать вагоны. Был и еще один источник дохода — донорство. Я сдавал по двести—триста граммов крови и получал за это деньги и талоны на обед. К концу второго года обучения стало уже немного легче. Я вырос как спортсмен, начал участвовать в соревнованиях по боксу, занимал призовые места и получал призы, которые, как правило, представляли собой в то время определенную денежную сумму. Вручался диплом, и к нему прилагали конверт с деньгами. И все же мне стоило огромного труда и напряжения добиться успехов в боксе: приходил на тренировки почти всегда полуголодный. Переносить в таком состоянии огромную физическую и нервную нагрузку было довольно трудно. Но желание быть сильным и физически независимым, чтобы уметь дать отпор любым нападениям антисемитов, придавало мне силы, выносливость и стремление к победе. В дальнейшем и в концлагере, и на "свободе" мне это существенно помогало, так как известно, что антисемиты проявляют свои чувства лишь тогда, когда эти проявления остаются безнаказанными.

Борьба с "космополитизмом" и "дело врачей"

Вскоре началась первая послевоенная широкая антисемитская кампания под девизом "Борьба с космополитизмом". Она проводилась в государственном масштабе и по инициативе сверху, а это значит — и с обычным в таких случаях размахом. Для проведения этой кампании был мобилизован весь гигантский пропагандистский аппарат Советской России, включая и прессу, и радио. Во всех учреждениях, особенно в научных и учебных заведениях проводились открытые партсобрания, на которых "разоблачали" космополитов, бичевали "преклонение перед иностранщиной". Все учебные пособия были переизданы или исправлены таким образом, чтобы почти все изобретения во всех областях науки принадлежали только русским ученым. Вся международная научная терминология была заменена русской. Спортивная терминология также была срочно заменена. Некоторые перепуганные профессора, чувствуя за собой какой-то "грешок", выходили на трибуну и сами себя бичевали, не дожидаясь, пока попадут в "космополиты", но это им мало помогало. Подавляющее большинство фамилий космополитов были еврейские, и вскоре уже слово "космополит" стало синонимом "еврея". Волна антисемитизма захлестнула всю страну. Все газеты пестрели фамилиями евреев-космополитов. Многих известных профессоров и крупных научных работников выгоняли с работы. Их книги изымались из библиотек и уничтожались. Русская наука, русская культура, русское искусство были подняты пропагандой на недостижимую высоту. Это было вершиной разнузданного великодержавного шовинизма. История науки переписывалась заново, и там уже основоположниками и главными творцами являлись, конечно, русские. Товарищ моего приятеля писал в то время работу по истории тульского оружейного завода. Как свидетельствовали архивные данные, основными творцами и мастерами этого завода были обрусевшие немцы — фамилии, имена и отчества у них были немецкие. Когда же он показал собранные данные своему руководителю, ему тут же было указано: "изменить все фамилии и имена на чисто русские, и чтобы в этой работе и духа немецкого не было". За легчайшую похвалу чего-ни-

будь иностранного немедленно выгоняли с работы, а многих подвергали аресту "за преклонение перед буржуазным строем". Мой знакомый инженер-строитель где-то положительно отзывался о кранах и умывальниках, которые он видел в Германии во время войны. Эта неосторожность стоила ему десяти лет концлагерей.

Вскоре в Минске было осуществлено зверское убийство известного еврейского артиста и общественного деятеля Михозлса. Хотя по первоначальной официальной версии в печати он погиб при автомобильной катастрофе, у нас на лекции по марксизму-ленинизму было объявлено, что его убили сами евреи, так как он слишком много знал об их делах и проделках, и они, опасаясь, что он может их выдать, решили его убить. Многие лекторы дали полный выход своим антисемитским чувствам, все их лекции были увязаны с еврейством, космополитизмом и сионизмом. Еврейский театр, издательства и библиотеки были разгромлены. В Минске до войны был постоянный еврейский театр, пользовавшийся большой популярностью у зрителей. Он помещался в бывшей хоральной синагоге, которая была хорошо переоборудована. Во время войны театр сгорел и остался лишь остов. Евреи обратились тогда к Председателю Совета Министров БССР Пономаренко с просьбой восстановить помещение театра, где еврейская труппа могла бы продолжать свою работу. Он им без обиняков ответил, что мы живем в Белорусской республике, а не в еврейской. Театр был восстановлен, но уже как Русский драматический театр. Он существует по сей день. А еврейский театр вынужден был скитаться, не имея постоянного места. Впоследствии он был ликвидирован, а основной массе актеров пришлось работать на должностях, никак не связанных с искусством.

Многих людей, отсидевших срок и после войны вернувшихся домой, хватили и без суда и следствия ссылали этапом опять в Сибирь. Атмосфера в Минске была гнетущая, евреи были запуганы, затравлены и боялись собственной тени. Чувство национального достоинства было подавлено, загнано в дальний угол и придавлено русским сапогом. Кульминацией послевоенного антисемитизма явилось знаменитое дело врачей. Это был разгул самых темных сил красной реакции. О деле врачей написано много. Еще до

официального сообщения мы знали, что сняли министра здравоохранения и посадили группу врачей. После официального сообщения в печати в январе 1953 года о деле врачей все самые низменные антисемитские инстинкты, которые прежде кое-как сдерживались, с ревом прорвались наружу и захлестнули всю страну.

История человечества знает немало антисемитских процессов и кампаний, но когда это происходит в свободной стране, то евреи и нееврейская прогрессивная общественность могут отстаивать свои права и справедливость. Когда же подобная кампания проводится тоталитарным режимом, когда на ее проведение мобилизуются огромные пропагандистские силы страны, которые обрабатывают общественное мнение, а КГБ уже на этой удобренной почве завершает работу, тогда это гораздо страшнее. Самое ужасное в этой кампании было не то, что сообщала официальная пропаганда, а как реагировал народ. Подавляющее большинство населения — от полуграмотных колхозников до рафинированных интеллигентов и крупных руководящих работников — все они с каким-то особым удовольствием смаковали эти сообщения. Верили всем самым нелепым, на какие только способна антисемитская фантазия, слухам, которыми была насыщена атмосфера, слухам, в которых не было ни логики, ни здравого смысла. Но они верили, верили потому, что хотели верить, потому что это приходилось им по их антисемитскому нутру, эмоционально удовлетворяло. Антисемитизм, как известно, является больше явлением эмоциональным, чем рациональным. На улицах, в автобусах, на работе только и говорили о евреях, и разговоры эти были полны самых отвратительных измышлений. На многих предприятиях устраивали митинги, которые носили чисто антисемитский характер. Многих евреев выгоняли с работы, особенно врачей. Участковых врачей-евреев, которые приходили на дом по вызову, выгоняли с криком: "Уходите вон, отравители! Вы приходите отравлять наших детей!" Многие евреи, особенно с ярко выраженным семитским профилем, боялись выйти на улицу, сесть в троллейбус или зайти в общественное место. Было много случаев, когда избивали евреев на улице, и почти каждый прохожий старался внести свою лепту в это "святое" дело. Когда антисемитский накал

достиг апогея, было объявлено о реабилитации врачей. Но как объявлено? Каким контрастом — кричащим обвинением врачей-убийц, крупным шрифтом на первых страницах, — было короткое сообщение об их реабилитации. Оказывается, они были невинно арестованы, а ответственность несут отдельные работники КГБ — Игнатев, Рюмин и другие. А о зверских пытках, которым подвергались врачи, было мягко сообщено, что к ним применялись недозволённые методы следствия. Вот и все. Естественно, что это сообщение ни в малейшей мере не могло нейтрализовать недавние потоки антисемитского яда.

Ничто так не потрясло Советский Союз за все время его существования, как смерть Сталина. В первый день сообщения о его смерти какая-то старушка принесла вазон с цветами и поставила его у памятника, который стоял на центральной площади Минска. И за ней пошли толпы людей с цветами, венками, и вскоре вся огромная площадь была уставлена цветами, и чтобы только попасть на эту площадь, надо было выстоять огромную очередь. Самое трагичное, что многие искренне верили в "генералиссимуса", "отца", "учителя". Даже когда начали открыто говорить о его преступлениях, многие старались найти какие-то оправдания и искать положительное в его деятельности. "Да, — говорили они, — все это было следствием его излишней доверчивости, его приближенные дезинформировали его". Все зверства, уничтожение десятков миллионов людей считалось делом рук Берии и его сообщников. "Кроме того, — говорили они, — война-то все-таки была выиграна им, это ведь факт". Психологически их можно было понять — трудно было расстаться с идолом, которому поклонялись всю жизнь. Без него они чувствовали себя опустошенными. А без веры во что-то и в кого-то человек не живет, а существует, не горит, а тлеет. Он единственный заполнял их разум и сердце, ему и в него они верили с религиозным фанатизмом. Люди умирали на фронте, в застенках гестапо или НКВД, произносилось не "мама", не имя любимой, а имя Сталина. Мне повезло — еще задолго до его смерти я встречался с людьми, которые мне рассказывали правду. Такие люди, к счастью, были, но большинство боялось рассказывать правду не только кому-нибудь чужому, но даже детям и жене. Когда

после его смерти все еще были в трауре, в одном кругу товарищей, которые сами весьма критически относились к советской власти, я сказал: "Да, жаль только, что это не случилось 30 лет назад". На меня бросились чуть не с кулаками. Впоследствии они сами смеялись над своей тогдашней наивностью.

Смерть тирана сделала свое дело, и постепенно люди начали прозревать. Особенно большое значение имела тогда речь Хрущева на XX съезде КПСС и чтение закрытого письма "О культе личности и его последствиях". Для людей большое значение имело то, что оно исходило от ЦК Партии, так как они еще по инерции верили партии. Магическая сила идола была развенчана, и люди иными глазами стали смотреть на происходящее. Как ни старался в дальнейшем Хрущев занять его место, но получился лишь фарс, он был всеобщим посмешищем. Но за старое цеплялся мертвой хваткой огромный партийно-государственный аппарат. Правители прекрасно понимали, что с изменением структуры государства они лишатся своего привилегированного положения, а этого никому не хотелось. Кроме того, на совести многих из них лежит гибель невинно замученных в советских концлагерях, и с них могли за это спросить. Это понимали все — от районных работников до работников ЦК и Совета Министров СССР. Поэтому они могли пойти на некоторые реформы, относительную либерализацию, но только не против самих устоев советской власти. И даже те критически мыслящие ответственные работники, которые понимали, что сама структура государства породила культ личности и авторитарный режим, старались сохранить его, так как, сохранив его, они сохраняли свое привилегированное положение. Если в свободном мире состояние капиталиста находится в его сейфе, то в Советском Союзе, в стране государственного капитализма, капиталом партийно-государственного чиновника является его служебное положение. Пока он занимает свой пост, у него есть все — и высокий оклад, и машина, и дача за государственный счет, ему гарантировано, что дети его поступят в лучшие ВУЗы страны, он пользуется закрытыми лечебными учреждениями. Для него везде — "зеленая улица". Лишившись же своего поста, он лишается всех привилегий — основы своего

благополучия. Эта материальная зависимость, зависимость будущего своей семьи, своих детей, заставляет советского чиновника делать даже то, что противоречит его взглядам, его мировоззрению. И лишь у единиц хватает мужества и воли пожертвовать своим привилегированным положением ради принципов.

Мое национальное пробуждение

Постепенно все мои спонтанно возникавшие чувства и осознание себя евреем начали формироваться в определенную систему. Но познания мои в еврейском вопросе были весьма скудными. Я не знал ни еврейской истории, ни языка, ни традиций, ни культуры, ни литературы, ни современного Израиля. Я начал жадно искать все, что было хоть как-то связано с еврейскими проблемами. Ходил в Центральную городскую библиотеку и перебирал там горы подшивок старых газет. Надо сказать, что Минск во время войны был разрушен на девяносто процентов, было уничтожено огромное количество книг — как из общественных библиотек, так и из частных. Я стал завсегдатаем букинистического магазина, и все, что там появлялось на еврейскую тему, сразу же покупал. Беседовал со стариками, которые что-то знали о древней еврейской истории и еще помнили новейшую. Покупал русскую литературу, где хотя бы упоминалось о евреях. Затем я стал регулярно слушать "Голос Израиля" на идиш и, хотя я далеко не все понимал, но даже то, что я схватывал, являлось для меня колоссальным богатством.

Я не могу указать время, событие или личность, которые заставили меня почувствовать себя евреем-сионистом. После войны я в основном находился среди русских. Но я никогда не старался приспособливаться к ним, не старался быть похожим на них. Хотя многие меня и не принимали за еврея, я никогда не забывал, что я еврей. Если все пережитое и виденное мною в гетто и в лагере воспринималось в основном эмоционально, то в дальнейшем, когда я уже повзрослел, все это начало принимать у меня весьма четкую

осознанную форму. И все пережитое в детстве я пережил вторично в воспоминаниях, но пережил уже осознанно. Все это привело меня к убеждению, что я нахожусь здесь на правах непрошеного гостя, которого еще как-то терпят, пока все идет хорошо. Но стоит где-то споткнуться, мне сразу же напомним, что я не хозяин в этом доме и должен вести себя соответственно. Я пришел к заключению, что мне, как и каждому еврею, который хочет оставаться евреем, надо иметь свой дом. А единственным домом может быть лишь Израиль — историческая родина евреев. Все мои помыслы, вся энергия, все средства были направлены на достижение этой заветной цели. Все события, свидетелем которых я был, все вопросы, которые я решал — все это проходило у меня через национальную призму. Я гордился тем, что я еврей, и старался передать эту гордость тем ребятам, с которыми общался. К этому времени я уже кое-что знал из еврейской истории и традиции. Все свое свободное время и средства я тратил на поиски и приобретение интересующей меня информации.

В 1955 году я впервые поехал в Ригу на спортивные соревнования. То, что я увидел там, меня потрясло. Тогда, и в последующие годы, когда я приезжал в Ригу, у меня было ощущение, будто я приезжал за границу. На улицах слышна еврейская речь. Евреи соблюдают национальные обычаи и традиции, собираются вместе, отмечают еврейские праздники. В Минске ничего похожего не было. В Риге, которая находилась под советской властью лишь в послевоенный период, если не считать короткого времени перед войной, сохранились старые традиции, сохранилось много евреев, которые были в свое время активными деятелями различных еврейских организаций, особенно Бейтара, сохранились богатые еврейские библиотеки. В первую очередь я пошел искать букинистический магазин. В одном из центральных букинистических магазинов я начал жадно искать на полках книги с еврейским шрифтом. Потом я спросил у продавщицы: "Какие у вас есть книги на еврейскую тематику?" Она мне что-то назвала, но в это время стоящий возле меня мужчина спросил: "А что это вас интересует еврейская тематика? Откуда вы?" Я ему ответил, что я из Минска, приехал сюда на спортивные соревнования. Он подозритель-

но на меня посмотрел и спросил, чем я могу доказать, кто я. Я ему показал удостоверение, что я являюсь судьей на проходящих соревнованиях по боксу. Мы разговорились, и он пригласил меня к себе домой. Когда я вошел в его маленькую комнатку, которая вся была уставлена книгами — книгами, которые я так жадно искал, у меня было ощущение, что я попал в тайник, в котором спрятаны огромные сокровища, а на полках от пола до потолка стоят слитки золота. Я стоял вначале зачарованный всем этим, а затем стал быстренько листать все подряд, чтобы успеть побольше просмотреть. Он мне кое-что рассказывал об Израиле, а я, в свою очередь, засыпал его вопросами. Многие из них были довольно наивны. Но мое блаженство продолжалось недолго, подозрения его, очевидно, не уменьшились, и он стал торопиться куда-то. Мы распрощались; вторично мы с ним встретились в Израиле, в первый день после моего приезда.

По возвращении в Минск я продолжал свои поиски. Случайно достал в читальном зале центральной библиотеки брошюру Горького об антисемитизме, в которой он жестоко бичует русский народ за его отношение к евреям. Он писал, что евреи воюют вместе с русскими на фронте (это было после Первой мировой войны), мерзнут в окопах и кормят вшей, а в это время их жен и сестер убивают, насилуют и грабят. Я, конечно, сразу же полностью переписал эту брошюру, и у меня оказался прекрасный материал, которым я мог пользоваться в беседах с ассимилированными евреями, еще не освободившимися от оцепенившего их страха. Не ко всем можно было подойти сразу с израильской тематикой, так как это могло отпугнуть, но общеврейский вопрос, да еще брошюра, которую написал сам Горький, считающийся основоположником советской литературы, брошюра, напечатанная в Советском Союзе, пускай в 1918 году — это не так страшно, не страшно и интересно, особенно про антисемитизм, который чувствуется во всем. Все это я адресовал в основном старшему и среднему поколению, большая же часть молодежи вообще этим вопросом не интересовалась, а продолжала жить идеалами, внушенными советской литературой. Тогда же достал я журнал, который издавался под редакцией того же Горького — "Щит". Этот